

**Robert Hornsby**

Protest, Reform and Repression in Khrushchev's Soviet Union

New York: Cambridge University Press, 2013

Хорошо, когда прочитанная книга не только отвечает на поставленные в ней вопросы, но и позволяет сформулировать новые. Хуже, когда эти вопросы хочется задать автору.

Монография Роберта Хорнсби «Протест, реформы и репрессии в хрущевском Советском Союзе» написана так плотно, что почти каждая глава может быть развернута в самостоятельную книгу. Некоторые сюжеты уже давно находятся в центре внимания историков, другие — как, например, использование карательной психиатрии в 1950-х — только начинают обсуждаться. Многие выводы и замечания автора способны дать толчок к плодотворным дискуссиям; и в то же время некоторые тезисы оставляют читателя в недоумении.

Отказавшись от привычного представления о времени правления Н.С. Хрущева как о периоде либерализации советской государственной политики (термин «оттепель» если и употребляется в книге, то исключительно в кавычках — для иллюстрации позиций оппонентов), Хорнсби предлагает рассматривать

советскую историю рубежа 1950–1960-х с точки зрения «взаимодействия между протестом и властью» (Р. 13). Действительно, после смерти Сталина государственная власть стала более чутко прислушиваться к общественным настроениям; однако, как убедительно показывает книга Хорнсби, гораздо чаще она слышала не чаяния либеральной интеллигенции, а гул «народного протеста».

Анализ того, как в советском обществе развивались механизмы обратной связи, представляет собой наиболее убедительную часть книги. Сосредоточившись на изменениях в аппаратах контроля и подавления, Хорнсби демонстрирует, как вслед за отказом от массового террора советское государство постепенно перешло к использованию «адресных» репрессий. Центральным событием в таком случае становится не XX съезд КПСС, от которого принято отсчитывать начало «хрущевской либерализации», а подавление Будапештского восстания — точнее, та тревога, которую внушала членам Политбюро возможность повторения венгерских событий

внутри СССР. И хотя зимой 1957-го началась наиболее массовая постсталинская репрессивная кампания¹, отката к “проклятому прошлому” все же не произошло.

Именно в конце 1950-х помимо гуманизации методов ведения следствия и реформирования системы исполнения наказаний (которое в итоге привело к упразднению Главного управления лагерей) происходят два важных поворота в советской репрессивной политике. Во-первых, с конца 1950-х контролирующие инстанции (речь идет не только о КГБ и милиции, но и об органах партии и комсомола) стараются различать “подлинных врагов советской власти” и “оступившихся”. Для перевоспитания последних рекомендовалось использовать разнообразные внесудебные методы. Притом их спектр был гораздо шире для членов КПСС и ВЛКСМ (многоуровневая система взысканий), чем в отношении беспартийных. Для тех единственной альтернативой заключению или принудительной госпитализации в психиатрическую больницу было увольнение с работы. Эта диспропорция отчасти объясняет значительный перевес беспартийных рабочих, пенсионеров и люмпенов среди осужденных по 58-й статье в постсталинские годы. Во-вторых, с 1959 года в качестве предпочтительной тактики борьбы с инакомыслием власти стараются использовать методы превентивного воздействия. В первую очередь это “профилактические беседы”, которые сотрудники КГБ проводили с теми, кто еще не совершил идеологического преступления, но представлялся потенциально способным на него.

Анализ диалектики отношений власти и общества позволяет увидеть причины, которые вызвали к жизни “огромное число недвусмысленно выраженных различных степеней фрустрации, гнева и противостояния политической власти” (Р. 1). Хорнсби показывает, что протестные выступления вспыхивали тогда, когда власть не успевала или не хотела исполнять данные ею обещания политических реформ и улучшения материальных условий

¹ В 1957–1959 за антисоветскую агитацию и пропаганду было арестовано около четырех тысяч человек, при том что в другие годы правления Хрущева ежегодно выносились не более 400 приговоров по ст. 58-10 УК РСФСР и соответствующим статьям республиканских кодексов.

советских граждан. Эти два типа нереализованных обещаний рождали, по его мнению, две формы протеста: “интеллигентскую”, призывавшую к расширению политических свобод, и “рабочую”, требовавшую улучшения уровня жизни (Р. 3–5).

Условность этой классификации, надо полагать, понятна и самому Хорнсби. Так, подробно освещая особенности студенческих протестных выступлений, он в сноске оговаривает, что “в том, что касается протестного поведения, студенты находятся где-то между интеллигенцией и рабочими” (Р. 24). При этом имевшие очевидно экономическую природу конфликты с участием студентов (бойкот студенческой столовой МГУ в 1956-м или забастовки на целине, комсомольских стройках и в колхозах, куда в летние и осенние месяцы “добровольно” отправлялись учащиеся вузов) не упоминаются вовсе. По всей видимости, Хорнсби ближе позиция его коллеги Бенджамина Тромли, считающего, что студенты послевоенного времени “пытались примерить на себя роль критически настроенных интеллектуалов по образцу своих революционных предшественников” (Р. 83)²; однако по какой-то причине он остается верен избранному им “классовому” подходу.

При этом Хорнсби не замечает, что марксистская традиция политической критики, к которой принадлежала значительная часть инакомыслящих 1950-х, видит в идеологии производную от общественно-экономических отношений. Поэтому, например, требование равного распределения между всеми гражданами СССР расценивалось протестующими как безусловно политическое. Эгалитаристские идеалы лежали в основе как “пролетарских” стихийных призывов лишить номенклатуру привилегий, так и “интеллигентских” развернутых реформаторских программ, критиковавших советский строй за бюрократическое перерождение. При этом подобные программы конца 1950-х были написаны не столько под влиянием работы “Новый класс” югославского философа Милована Джиласа, воздействие которого на диссиден-

² См. подробнее: TROMLEY B. *Making the Soviet Intelligentsia: Universities and Intellectual Life Under Stalin and Khrushchev*. Cambridge, 2014.

тов 1960-х справедливо отмечает Хорнсби (Р. 139), сколько исходя из заново прочитанных работ Маркса и Ленина (особенно “Государство и революция” последнего).

Скорее всего, противопоставление интеллигенции и народа досталось Хорнсби в наследство от Владимира Козлова, чьи работы по истории советского общества 1950–1980-х отличает пафос борьбы с “диссидентоцентризмом”³. Той же полемикой с исследователями правозащитного движения 1960–1980-х проникнуты и многие страницы рецензируемой британской монографии. Бинарная оппозиция “политическое инакомыслие 1950-х — диссидентство 1960–1970-х”⁴ кажется не менее искусственной, чем противопоставление “рабочего” и “интеллигентского” протеста.

Зарождение правозащитного движения в середине 1960-х годов не положило конец ни возникновению подпольных групп, ни написанию анонимных писем в органы власти, ни другим “крамольным” проявлениям. В брежневские годы в среде интеллигенции стали более популярны либеральные идеи или радикальное почвенничество, но это никак не помешало возникновению социалистических групп в конце 1970-х⁵. Советским правозащитникам удалось привлечь внимание мировой общественности к своей борьбе, но обращаться к мировым лидерам и представителям “прогрессивной западной общественности” несогласные с политикой СССР начали уже в 1950-е. Медиаэффект, которого достигли правозащитники, во многом объясняется тем интересом, который испытывали зарубежные СМИ и политики к положению с соблюдением прав человека в СССР, и причины нарастания интенсивности этого интереса нуждаются в отдельном изучении.

Это не значит, что сложившийся взгляд на диссидентское движение в СССР не должен

быть скорректирован. В книге Хорнсби можно найти сюжеты, позволяющие по-новому подойти к этому важнейшему феномену послевоенной советской истории. Так, на страницах 190–191 описана история Юрия Гримма, вместе с подельником арестованного за расклейку листовок, призывавших требовать от Верховного Совета снять Хрущева со всех постов. Нельзя ли увидеть здесь не “наивную веру в способность Верховного Совета снять Хрущева ...под давлением масс”, а легалистскую логику апелляции к уже существующим в государстве законам и механизмам управления, наиболее емко выраженную в правозащитном лозунге “Уважайте советскую Конституцию”? Тем более что после освобождения Юрий Гримм принимал активное участие в правозащитном движении.

Ответить на этот вопрос можно, только обратившись к следственному делу, недоступному исследователям в настоящее время. Открытие архивов органов госбезопасности сулит нам переворот в понимании природы протестных явлений в СССР, очевидно, превосходящий ту революцию, которую произвело введение в научный оборот В. Козловым и его коллегами надзорных производств прокуратуры СССР. Однако пока это не произошло, исследователям приходится работать с тем, что есть. Хорнсби прекрасно знает свои источники (надзорные производства и аналитические записки, подготовленные КГБ для ЦК КПСС), указывает на возможные контексты их появления (стремление сотрудников КГБ реабилитировать важность своей организации; “венгерский синдром”, которому было подвержено не только высшее, но и местное руководство; практика маркирования хулиганских выходов как антисоветских преступлений и наоборот) — и все равно слишком им доверяет.

Документы контролирующих и репрессивных органов не просто фиксируют различные явления социальной жизни, но недвусмысленно квалифицируют их как антисоветские проявления. “Автоматический перевод” этих явлений в категорию политического и/или экономического протеста редуцирует их возможное содержание. Так, в череде поственгерских выступлений Хорнсби упоминает арест

3 Крамола: инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежнев. 1953–1982гг. Рассекреченные документы Верховного суда и Прокуратуры СССР / Под ред. В.А. Козлова, С.В. Мироненко. М., 2005. С. 10–19.

4 В работах Козлова противопоставление звучало как “народный протест — диссидентство”.

5 О них см., например: Казаков Е.А., Рублев Д.И. “Колесо истории не вертелось, оно скатывалось”. *Левое подполье в Ленинграде, 1975–1982* // Неприкосновенный запас. 2003. № 91. URL: <http://magazines.russ.ru/nz/2013/5/15k.html> (доступ 29.03.2017).

ленинградского поэта Михаила Красильникова за выкрикивание лозунгов в поддержку подавленного восстания (Р. 84). Красильников был приговорен к четырем годам лагерей по статье 58–10, в прокурорских документах сохранились формулировки “антисоветских лозунгов” — казалось бы, вопрос решен. Однако те, кто знал Красильникова, описывают его выходку как своеобразную художественную акцию: группа молодых людей выкрикивала заведомо абсурдные лозунги, тем самым нарушая монополию советского государства на публичное высказывание и обнажая омертвелость официального дискурса⁶. Плюс ко всему, в момент ареста Красильников был пьян. Однако из всех возможных интерпретаций оставлена та, которая представляет его в роли участника политического протеста.

Вопросы вызывает и фотография, украшающая обложку: милиционеры заламывают руки мужчине, явно не желающему сдаваться на милость советского правосудия. Кадр сделан не на запрещенной демонстрации — мужчина пикетирует посольство США, требуя снять с Кубы экономические санкции. Анализ одной этой фотографии ввел бы в монографию важный — и практически неизученный — сюжет. Речь не о методах организации митингов протеста против политики капиталистических стран и не о соотношении искренности и цинизма в поведении их участников — это слишком далеко от рассматриваемых Хорнсби проблем. В контексте его исследования важно то, что власти могли пресекать (или как минимум подвергать критике) не только прямые протестные высказывания или проинтерпретированные в качестве протеста “пограничные” случаи, но и чрезмерную активность в демонстрации поддержки партийной линии⁷. Таким образом, можно предположить, что милицию, КГБ, партийные и комсомольские органы беспокоило не только непосредственное со-

держание протестных акций, но в целом любые автономные общественные инициативы, осуществляемые в публичном пространстве. К такой интерпретации в нескольких местах приближается Хорнсби, говоря о “волне критики и правдорубства” на партийных и комсомольских собраниях после XX съезда (Р. 34–35) или о расклейке листовок как о нарушении государственной монополии на публичность (Р. 145). Но увы, презумпция протестного характера анализируемых автором эпизодов не только выхолащивает возможные интерпретации, но и в целом отбрасывает интересную и насыщенную монографию назад, в тоталитаристскую исследовательскую традицию, представляющую протест единственно возможным осознанным общественным поведением в СССР.

Дмитрий Козлов

6 Горбаневская Н.Е. *Ахматова, Бродский и все остальные...* Статьи о поэзии // Новая камера хранения. URL: http://www.newkamera.de/gor/gor_o_01.html (доступ 29.03.2017); Родос В.Б. *Я сын палача*. М., 2008. С. 133.

7 Другим примером подобных конфликтов можно считать одергивание комсомольских патрулей, слишком рьяно мешавших проведению крестного хода во время празднований Пасхи в годы антирелигиозных кампаний хрущевского времени.